

*Наталья Соколовская*

ДОЛГОЕ  
СЧАСТЛИВОЕ  
УТРО



ЛИМБУС ПРЕСС  
Санкт-Петербург

## СНАЧАЛА БЫЛА РИФМА...

Это очень петербургская книга.

В Петербурге – Петрограде – Ленинграде – Петербурге с особой силой чувствуются и разрывы, зияния времени, и, кровная и роковая, связь времен.

«Век мой, зверь мой, кто сумеет заглянуть в твои зрачки / И своею кровью склеит двух столетий позвонки?» Повторяя эти строки Осипа Мандельштама, мы сегодня можем вздохнуть – трех, уже трех столетий... позвонки...

В повестях и рассказах Наталии Соколовской стремление осознать и воссоздать неразрывность эпох соединяется с горьким анализом непоправимо утраченного, исчезнувшего.

«...Однажды, когда девочка училась еще в начальных классах, случилось невероятное. В их школе появился настоящий ковчег завета. Так капсулу с “заветами будущим поколениям” назвала она много лет спустя, когда рассказывала об этом сыну. Но и слово капсула было отличным и означало почти что “отделяющуюся капсулу космического корабля”. Собственно, их капсула с заветами и была маленьким космическим кораблем, отправленным, чтобы преодолеть время. В апреле, в День космонавтики, на торжественной общешкольной линейке серебристую продолговатую емкость с запаянными внутри заветами, содержание которых оставалось для всех тайной, вмуровали высоко в стену актового зала, справа от сцены...»

Что же завещала будущему таинственная капсула? Была ли она только скоропреходящей загадкой или настоящей тайной, причастной вечности? Когда прошло много лет (много жизни), когда на стене давно изгладили след от вмурованного «ковчега», девочка пытается найти капсулу-ответ.

Найдет или нет? А если найдет, то узнает и поймет... – что?

Наталия Соколовская ведет повествование на стыке документального, мемуарного, реалистического и символического.

У девочки, как у всех советских детей, было будущее. Там, впереди, в будущем поднимался неотвратимый ядерный гриб всеобщей смерти и там же, тогда же новые поколения бороздили космические просторы новой прекрасной жизни.

Выступая как писатель-исследователь, Наталия Соколовская анализирует психологию и становление советского ребенка, который искренне и глубоко переживает неизбежное будущее – и то, и другое.

«В коридоре первого этажа, там, где нас выстраивали на классные линейки, стены были увешаны плакатами: бомбоубежище в разрезе, люди и животные после атомной бомбардировки, лучевые поражения кожи, мягких тканей, слизистой оболочки. Тогда я нашла единственный аргумент, единственное объяснение, почему можно завести собаку: “Ведь все равно скоро война и все мы умрем...”».

Каждый человек с опытом советского детства подтвердит, что это пронзительная правда. Но вместе с этим кошмаром, внутри него или поверх него, девочка чувствует причастность чему-то светлому и огромному: «На общих линейках, проходивших в теплое время на школьном стадионе, а в холодное в актовом зале, из репродуктора неслось: “Мы рождены, чтоб сказку сделать былью...” И наши голоса летели вверх и растворялись в жизнеутверждающем и одновременно жертвенном восторге».

Повесть «Дети Динэры» начинается с того, что десятиклассников везут на строительство ленинградского метро: подсобные работы, уборка мусора. С детьми – учительница литературы Динэра, в окнах пазика – окраины Ленинграда, в душе героини по прозвищу Жаворонок – воспоминания и тревога, стихи и любовь к Динэре, с которой сроднился весь класс.

«Да и как можно оставаться чужими, пережив вместе смерть мятежного Мццри, пережив с Никольенькой Иртеньевым смерть мамá и со стариками Базаровыми смерть их сына Евгения... оплакивая гибель князя Андрея, самоубийство Катерины и нелепую смерть доктора Дымова... Как можно не сплотиться, хотя бы на время, сострадая Акакию Акакиевичу, Самсону Вырину, Карлу Ивановичу, Сонечке Мармеладовой... Все эти переживания Динэра дает испытать сполна своим ученикам, объединяя их, делая их неким малым народом, обреченным, впрочем, на скорое рассеяние».

Что же... смерть и страдания, пережитые сполна под руководством любимого учителя, ведут к сплоченности, сродненности, объединению детей в сострадании. Так, в моем понимании, отвечает автор на социологический вопрос, зачем заставлять учеников «переживать» бесконечные смерти и несчастья.

Но там, под землей, где старшеклассники грузят мусор на вагонетку, вдруг – «...воздух начинает вибрировать и гудеть, потом раздается грохот, и подземная река врывается в тоннель. Последнее, что видит Жаворонок, – летящих в потоке воды Львова и Мазурову, которые держатся друг за друга, как Паоло и Франческа на гравюре Доре».

Конечно, это происходит не в реальной реальности, а в символической: дантовская картина вообразилась Жаворонку (выявляя привычную тревогу, в которой живет девочка), но оказалась пророческой во многих смыслах. Поток истории унес советскую жизнь. Прорыв подземной реки на красной ветке метро действительно случился, но в другое

время, поэтому из детей не вышло «строительной жертвы». И наконец... воспитание на смертях, несчастьях, страдании, сострадании привело к жизни в несчастьях, страдании – и чутком сострадании.

Бывшие ученики, у которых уже внуки, хоронят любимую учительницу Динэру, чье имя расшифровывается как Дитя Новой Эры.

«Лучшего места, чем наше – нет для смирения».

Но и для света.

Наталья Соколовская – не только писатель-аналитик, исследователь-социолог: ее прозу можно и нужно назвать поэтической.

И прежде всего, конечно, поэзия книги проявляется в любви автора к родному Петербургу, к его трагедиям и его красоте, к чуду живой архитектуры, благородного созидательного труда.

«Сначала была рифма. Рифма была парной: Мадонна Бенуа / Дом Бенуа. В детстве я думала, что это сочетание гласных – имя, напоминающее цветок, раскрытый в младенческом зевке: Бенуа-а-а-а... “Больше свету!” Об этом писал и этого добивался Бенуа, проектируя и внутренние помещения, и дворы, и даже целые анфилады дворов, будь то по сю пору влекущие меня зазеркальной прелестью дворы моего Дома Бенуа, или Дворы Капеллы, “проход” по которым я дарю приезжающим друзьям, как собственную сердечную тайну».

Самый петербургский поэт, Александр Блок, однажды обмолвился таинственным признанием: «...стихотворение – покрывало, растянутое на остриях нескольких слов. Эти слова светятся, как звезды. Из-за них существует стихотворение».

В поэтической и аналитической книге Натальи Соколовской эти слова-звезды (узлы, сгущения смысла) мне видятся такими: космос – детство – тайна – время – свет – Петербург...

ЕЛЕНА ИВАНИЦКАЯ

# ДЕТИ ДИНЭРЫ

## ПОВЕСТЬ

### 1

Утром к школе подкатывает серый «пазик» с большими буквами «Дети» за лобовым стеклом. Ровно в девять десятый «В» берет «пазик» на бордаж. Первыми, нарочно промешкав в дверях, создавая пробку, внутрь проникают двоечники Байков и Егоров. Эти радуются больше всех из-за слетевшей контрольной по алгебре. Отмены занятий никто не ожидал, однако накануне первого апреля в школу из РОНО, а в РОНО *сверху* поступило распоряжение: старшие «параллели» должны ездить на стройку. Десятый «В» решил, что это шутка. Но теперь подошла его очередь. Стройка оказывается не просто стройкой, а – по городскому масштабу – великой: учащихся «бросают» на особо охраняемый стратегический объект – ленинградский метрополитен. В разрядке сказано: «подсобные работы, уборка мусора».

О том, что тянут на север «красную» ветку метро, известно из газет, телевизионных новостей и кухонных радиоточек. То, что строительство превратилось ввиду юбилейного партсъезда в очередную героическую «стройку

коммунизма», да еще с использованием детского труда, – новость, о которой в газетах ничего нет, зато по городу идут разговоры, что «Гришка Романов метит в генсеки».

Сопровождать десятый «В» назначен физрук. Но вдруг оказывается, что едет Динэра.

Динэра – классный руководитель десятого «В». Она стоит на школьном крыльце и, щурясь от солнца, пересчитывает по головам тех, кто садится в автобус. Между собой десятый «В» зовет ее уменьшительным – Эра. На ней перетянутый кушаком грубый матерчатый плащ неопределенного цвета и лихо заломленный на ухо фетровый берет. Обута Динэра в коричневые тупоносые ботинки. Ее голая худая шея торчит из воротника. Вид у Динэры взъерошенный. Судя по сжатым губам и сдвинутым бровям, все происходящее ей не нравится. Еще бы. Первый сдвоенный урок – ее. Динэра никогда не забывает упомянуть, что «часов по литературе катастрофически не хватает». И сопровождение класса на строительство – в известном смысле демарш. Этим Динэра хочет показать: свои часы она не уступит даже непреодолимым обстоятельствам.

Динэра заходит в автобус последней, когда все утрамбовались в тесном салоне. Она заходит так, как обычно заходит в класс в начале урока, и выражение лица у нее уже не сердитое, а ироничное и доброжелательное одновременно. Она глядит на своих учеников, и те делают привычное общее движение ей навстречу. Динэра улыбается и машет увечной рукой: «Сидите». Ее голубые глаза с темным ободком вокруг радужки кажутся удивленными, когда она, проверяя тетради или проставляя оценки в журнале, смотрит поверх толстых очков.

Динэра проходит в конец автобуса и садится между Байковым и Егоровым.

Над полным именем Динэры немного посмеялись в начале седьмого класса. На первом же уроке Байков по прозвищу Язык-без-костей с места поинтересовался, что означает такое имя. Учительница попросила Байкова встать и, приветливо улыбнувшись, сказала, что имя это происходит от словосочетания *Дитя Новой Эры*. Данное сообщение произвело эффект. Тут же последовал вопрос нахального умника Васильковского: «От рождества Христова?» Динэра опять улыбнулась, похвалила Васильковского за эрудицию и дала развернутый ответ: «Дитя Новой Эры – от той эры, которая, видите ли, должна была бы наступить вследствие Великой Октябрьской Социалистической Революции, то есть, получается, сегодняшней эры, к которой вы все имеете непосредственное отношение». И покуда не прозвучали вопросы, спровоцированные сослагательным наклонением «должна была бы», Динэра повернулась к доске, взяла мел и написала: «М. Ю. Лермонтов. Белеет парус одинокий». Правая рука ее была похожа на перебитое крыло. Буквы имели наклон, противоположный привычному, и состояли из однородных волосяных линий, напоминавших дрожащую спираль в лампе накаливания. Рыжие вьющиеся волосы, собранные на затылке в нетугой узел, легко полыхали вокруг головы Динэры.

...Проехав дворами, «пазик» выруливает на проспект Анникова, состоящий из четырех семиэтажных панельных домов и четырех точечных кирпичных между ними. Проспект называется по имени не то купца, не то домовладельца, но этот явный анахронизм будет исправлен позже, когда проспект начнут расширять и продолжать, присвоив ему имя сначала расстрелянного, а потом реабилитированного маршала Блюхера. Реабилитировали маршала вскоре после *исторического* Двадцатого съезда партии, который

случился как раз в год рождения тех, кто, валяя дурака, катит сейчас в сером «пазике» на строительство метрополитена.

«Пазик» сворачивает в сторону Пискаревского проспекта.

Слева от проезжей части когда-то, когда пассажиры «пазика» были еще первоклассниками, широкой полосой, превращенной теперь в газон, рос негустой ольшаник, за ольшаником высились опоры ЛЭП, а за ними тянулось капустное поле, на которое блокадные люди ходили собирать вмерзшую в землю хряпу. После войны на краю поля был построен конденсаторный завод военного и отчасти народно-хозяйственного назначения. Здесь работают родители кое-кого из тех, кто едет сейчас в автобусе.

Теперь капустное поле полностью застроено домами, за которыми завода не видно, а видно только трубу с непрерывно идущим ядовитым дымком.

Староста десятого «В» Забродина, ничего не зная про капустную хряпу, хмыкает, толкает локтем в бок соседку и произносит неожиданно в тему: «Ну ты, Жаворонок, и сочинять... А мы ведь поверили». Жаворонкова молча сверлит глазами затылок красавчика Васильковского. «Помнишь?» – и Забродина кивает в сторону газона. – Мы тут во втором классе шалаш построили...» – «И что?» – меланхолически вздыхает Жаворонкова. – «И прятались в нем, и говорили всякое страшное, и ты рассказала, что тебя нашли в блокаду и воспитали твои бабушки, с кучей страшных подробностей. Дома я рыдала, пока мама не спросила: “Сколько же лет вашей Ане?” Не помнишь, что ли?». – «Не помню». – Жаворонкова вздыхает. Она помнит. Просто не хочет отвлекаться от очередной несчастной любви к очередному однокласснику. За десять

лет совместной учебы все успевают поперевлюбливаться. Некоторые радикально, как сидящие через проход Мазурова и Львов. Они смотрят перед собой, глупо улыбаются и сжимают руки друг друга так, что выступают побелевшие костяшки пальцев.

Автобус сворачивает на Пискаревский проспект и вдоль трамвайных путей движется в сторону больницы имени микробиолога Мечникова. Слева простирается то, что местное население почему-то называет «питомником», хотя тут никто ничего не выращивает. Это давно заброшенный и частично вырубленный сад, который, перекачиваясь через Бестужевскую улицу, тянется до проспекта Мечникова. О том, что тут был сад, говорит яблонева аллея. Яблони давно одичали, но привычно и бесполезно плодоносят. Скоро в саду вырубят часть старых деревьев, разобьют новые дорожки и назовут все это Пионерским парком. А еще через двадцать лет южной его части, которая упирается в Бестужевскую улицу, дадут имя академика Сахарова, в чем при желании можно усмотреть насмешку и даже черный юмор, поскольку в парке поставят два памятника: жертвам атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки и жертвам радиационных аварий и катастроф.

Около Бестужевской улицы «пазик» останавливается на светофоре. Если смотреть вправо, можно увидеть ряды пятиэтажек. Там в проходной комнате трехкомнатной малогабаритной квартиры вместе со своей старшей сестрой, профессором-экономистом, ее сыном, молодой женой сына и новорожденной внучатой племянницей – живет Динэра. Ни мужа, ни собственных детей у нее не было и нет.

Пятиэтажки выстроились, как роты на плацу. Но улица названа совсем не в честь мятежных братьев Бестужевых, – что, надо сказать, весьма подходило бы Динэре.

И все ж косвенное отношение к декабристам улица имеет: в начале века она получила свое название по фамилии их дальнего родственника, канцлера и дипломата, жившего на сто лет раньше. Думается, и переименования не случилось лишь благодаря этому совпадению. А может, потому, что название улицы ассоциировалась у местных топонимических начальников не только с пострадавшими от царизма декабристами, но и с прогрессивными Бестужевскими курсами, чьи выпускницы изрядно пополнили в свое время ряды революционерок.

Бестужевкам было предусмотрительно запрещено преподавать. Динэре какое-то время тоже. Еще до своего появления в тогдашнем седьмом «В» она некоторое время работала в этой же школе библиотекарем. К преподаванию в средних и старших классах ее поначалу не допустила директриса. Видимо, Динэре, демонстративно беспартийной и к тому же дочери хоть и реабилитированного в короткую хрущевскую оттепель, но все-таки «врага народа», полагалось пройти идеологический карантин.

В конце пятидесятых Динэре стало известно, что ее арестованный в тридцать седьмом отец (военврач, партиец) был этапирован в Воркутлаг, отправлен на работы в угольную шахту и там через четыре года погиб под рухнувшей кровлей забоя. Еще через тридцать с лишним лет будут опубликованы документы, удостоверяющие, что на самом деле шахта вместе с находившимися в ней заключенными была затоплена в октябре сорок первого года, когда немцы подошли к Москве.

...Часть Бестужевской улицы, идущая на запад, к своему началу, настолько длинна, что мало-помалу успевают вернуться в состояние проселочной дороги, поросшей кустарником с одной стороны и отгороженной забором

с другой. Возле этой проселочной части значительно высятся квадрат серого, с бойницами узких окон, корпуса без опознавательных знаков: космическо-оборонный «ящик». В нем тоже работают родители кое-кого из тех, кто сидит в автобусе, остановившемся на светофоре. Началом улицы является тупик: намертво закрытые ворота, за которыми неизвестно что.

Нетями можно назвать весь район в радиусе нескольких километров от той точки, где находится сейчас автобус с надписью «Дети». С «большой землей» местность, в которой они живут, связана двумя медленными трамваями (пути разбиты) и двумя медленными автобусами (кружат). До ближайшей станции метро «Площадь Ленина» около получаса езды. Еще дальше будет до той, пока безымянной, а в последствии получившей название «Площадь Мужества», на строительство которой везут сейчас десятый «В». Но у всех есть надежда (несбывшаяся), что «ветку протянут» когда-нибудь и в их район.

Автобус минует трамвайное кольцо возле больницы Мечникова, проезжает по мосту над железнодорожными путями и покидает пределы привычной детям ойкумены. Дальше есть только два хорошо известных им объекта: Пискаревское кладбище, где они бывают раз в год в День полного снятия блокады, и расположенная ровно против кладбища районная овощебаза, куда их периодически «гоняют» перебирать овощи, после чего всем долго мерещится запах гнилой капусты и мороженой картошки.

За железнодорожным мостом округа на какое-то время приобретает почти деревенский вид благодаря старым деревянным домам с палисадниками. Деревья стоят в легкой зеленой дымке.

Погода вдруг меняется, солнце уходит за тучи, в воздухе повисает плотная водяная взвесь. Десятый «В» молча смотрит по сторонам из своего автобуса-аквариума. На крестообразном перекрестке автобус снова останавливается. Тут Байков начинает гоготать, как сумасшедший, указывать рукой вправо и орать на всю ивановскую, что надо сворачивать вон туда и айда все вместе в крематорий, недавно померла его бабка, и он там был, там клёво, похоже на школу внутри и снаружи, даже спортзал есть, и всё такое. Десятый «В» радостно орет в ответ: «Ура! В крематорий!» Динэра морщится, закрывает уши руками, но в конце концов тоже смеется.

Крематорий – городское новшество. Появление ритуального объекта вызывает у старожилов смешанные чувства. Многие еще помнят о крематории, устроенном в кирпичном заводе. Там сжигали в блокаду умерщвленных посредством голода людей. Теперь на этом месте станция метро «Парк Победы».

К крематорию через лес тянется неширокая побитая дорога. На угловой остановке стоят под зонтами люди, людей много, видно, что ждут они уже давно, в ту сторону идет только один автобусный маршрут. Сразу за крематорием город кончается. «И этих подбросим!» – не унимается Байков. Десятый «В» косится на сквозной и почему-то страшный лес, на людей, застывших в ожидании, и хохочет до икоты.

Тут вспыхивает зеленый, «пазик» неспешно поворачивает на проспект Непокоренных, и вскоре проезжает мимо Пискаревского кладбища. Десятый «В» синхронно смотрит вправо и успевает заметить в просвете между двумя плоскими портиками скульптуру Родины-матери. Трасса расположена выше уровня общих захоронений, которых не

видно. А Родина-мать видна. Она высится на фоне серого неба, в конце длинной широкой аллеи.

Каждый раз, бывая на Пискаревском, дети задирают головы, пытаются разглядеть выражение лица огромной, стоящей на высоком постаменте бронзовой женщины с шеей атлета и твердым подбородком. И каждый раз у них это не получается. Они видят проступающие под тонкой материей выпуклые накаченные мышцы живота и широкие, прочные бедра. Не прилагая усилий, женщина держит на кончиках пальцев бронзовую, перевитую траурной лентой тяжелую гирлянду, похожую на спеленатого ребенка. С привычной готовностью к жертвоприношению, жестом, полным достоинства, она величаво протягивает свою ношу в пустоту. И вся фигура ее выражает непреклонную и сосредоточенную волю.

«Слушай, Заброда, а почему она такая... такая... – Жаворонкова подбирает слово, – ...такая мощная...» Забродина пожимает плечами: «Ну не дистрофичку же блокадную тут ставить... все должны видеть...» Но что именно видеть, объяснить не может, и только бурчит: «Когда уже приедем-то...»

«Пазик» движется сквозь долгий лес. Почти десять утра, но кажется, что стемнело. К самой дороге подступают вечнозеленые сосны, стволы у них телесного цвета, и они светятся.

Жаворонок свешивается в проход и смотрит назад, в конец автобуса. Динэра не замечает этого движения, она тихо переговаривается с Байковым и Егоровым. Жаворонок ревниво хмурится. Вчера она передала Динэре листок со своим новым стихотворением, но обязательного в этих случаях ответа не получила. Можно было, конечно, позвонить Динэре еще вечером, но телефон стоит в коридоре,

возле кухни, где допоздна сидели родители, а утром началась суматоха с отъездом на стройку.

Родители хотят, чтобы Жаворонок пошла «по их стопам». Но движение в этом направлении не вдохновляет Жаворонка, поскольку рано или поздно приведет к работе в «ящике». А Жаворонок туда не хочет и упорно продолжает писать свои «никому не нужные стихи». Мать называет Жаворонка идеалисткой. О Динэре родители и учителя между собой тоже говорят, что она «идеалистка». И не понятно, с какой интонацией это произносится: уважительной, сочувственной или осуждающей. Когда Жаворонок поинтересовалась у матери, что она имеет в виду под этим словом, та, немного подумав, ответила: «Не от мира сего». Жаворонок хмыкнула и ничего не сказала, решив, что настоящей идеалисткой, в прямом смысле повернутой на всю голову, была она сама в десять лет, когда ее раньше других одноклассников приняли в пионеры.

Случилось это в санатории, где она первые месяцы четвертого класса оправлялась после больницы, куда летом попала с «ревматической атакой». Слово «атака» тогда очень нравилось Жаворонку. В нем было что-то гайдаровское, отважное и гордое, что-то из «Военной тайны», где пал жертвой мальчик Алька, ее почти ровесник. Время, проведенное в больнице, запомнилось ей боксом-одиночкой, пыточными процедурами вроде неоднократных заборов крови из тонкой, ускользающей вены, болезненными уколами и принудительным глотанием зонда. Все это походило на инициацию.

А потом ее отправили в санаторий, где на Ноябрьские праздники, принеся торжественную клятву, она стала членом Всесоюзной пионерской организации, тогда как в обычной школе в пионеры принимали двадцать второго

апреля, в день рождения Ленина, вождя мирового пролетариата. Так что в класс Жаворонок вернулась в ореоле больничного мученичества, с красным галстуком, повязанным вокруг шеи, и с леденцово поблескивающим значком «Всегда готов!» на груди.

Исключительность события стала для Жаворонка предметом легкого помешательства, обострение которого случилось во время очередного похода всем классом в кино. Что происходило на экране, Жаворонок не запомнила, пораженная видом ярко-алого полотнища над дворцом, в котором располагался райком партии Куйбышевского района. Всю дорогу, пока класс шел от трамвайной остановки на углу Литейного и Невского проспектов – дальше по Невскому, через Аничков мост над рекой Фонтанкой и немножко еще – до кинотеатра «Аврора», Жаворонок, ежесекундно оборачиваясь и рискуя свернуть себе шею, смотрела на знамя, которое развевалось высоко в сером ленинградском небе. И до конца учебного года она жила сознанием, что ей вверен кусочек того огромного *стяга* – пионерский галстук – и что она таким образом оказалась частью чего-то общего, значительного.

Спустя шесть лет Жаворонок будет говорить с Динэрой о том, что ей кажется, будто кто-то, очень умный и очень опасный, подталкивает ее, указывает направление, которым ей следует идти, но которым она идти не собиралась... будто кто-то ждет от нее поступков, которые она совершать и не думала, но которые уже почти готова выдавать за свои собственные... будто кто-то готовит ее к чужой, не предназначенной ей жизни, вынуждая ее внутренне обороняться... И вот тогда она, вдруг, вспомнит историю про флаг, вспомнит отчужденно, будто это было не с ней, Жаворонком, а с другим человеком, которым она не могла

быть. Она расскажет это, морщась от неловкости, смеясь над собой прежней и ожидая, что и Динэра посмеется. Но смеяться Динэра не стала, а посмотрела очень серьезно в глаза Жаворонку и очень грустно сказала: «Как хорошо, что ты теперь тоже знаешь это».

Жаворонок дорожит своей привилегией общаться с Динэрой вне школы. Руководство не одобряет слишком тесные контакты между учителями и учащимися. Считается, что нужно соблюдать «границы». Но соблюдать границы можно в точных науках. В случае с предметом «литература» границы рушатся. По крайней мере, так произошло с «В» классом и Динэрой. Да и как можно оставаться чужими, пережив вместе смерть мятежного Мцыри, пережив с Николенькой Иртеньевым смерть мамá и со стариками Базаровыми смерть их сына Евгения... Как можно не стать родней, оплакивая гибель князя Андрея, самоубийство Катерины и нелепую смерть доктора Дымова... Как можно не *сплотиться*, хотя бы на время, сострадая Акакию Акакиевичу, Самсону Вырину, Карлу Ивановичу, Сонечке Мармеладовой, Максиму Максимовичу, Платону Каратаеву, Неточке Незвановой...

Все эти переживания Динэра дает испытать сполна своим ученикам, объединяя их, делая их неким малым народом, обреченным, впрочем, на скорое рассеяние.

Учебный процесс организован Динэрой так, чтобы успеть «пройти» то важное, что программой по литературе не включено даже в раздел внеклассного чтения. Она спешит, понимая, что потом, когда прозвенит последний звонок, будет уже поздно. Она умудряется обмануть систему.

«Умен ли Чацкий?» – дает она тему для сочинения, предлагая разрешить спор Пушкина и Гончарова. И до-

вольно посмеивается, проходя между рядами и заглядывая в тетради.

Терпеливо собирая свой класс в путь, она с любовью укладывает в дорожный сундук самые необходимые вещи, она «ходит» за своими учениками, как Савельич за Петрушей Гриневым.

Больше прочих поэтов Динэра любит Некрасова. Тут она непреклонна, и класс беспрекословно учит наизусть и потом читает «на оценку» вслух про чашу народного горя и скорбь вопиющую, и про стон, который зовется песней, и про холопский недуг – то, что учебник литературы называет «гражданской лирикой». «Вы должны это знать», – голос Динэры тверд, и рыжие волосы ее посверкивают, как наэлектризованные.

Станным образом Динэре удается, ничего лишнего не говоря, сказать многое. За ней стоит некое знание, которое дети чувят, как звери чувят в пустыне воду.

В начале второго полугодия девятого класса ранение Динэры вдруг ожило. Воспаление простреленного нерва причиняло ей сильнейшую боль, и без того как бы истаявшая, правая, рабочая, рука продолжала таять. Требовалась операция. Две недели Динэра провела в больнице и еще месяц в санатории на реабилитации. Все двадцать два учебных часа «Войны и мира»! Это была катастрофа. Поставленная на замену литераторша вела уроки, придерживаясь учебника, а потом жаловалась в учительской на хамское поведение и полнейшую невосприимчивость класса.

Динэра вернулась в середине февраля. И без того сухощавая, она еще больше похудела и осунулась. Прооперированная и перебинтованная правая рука ее была на перевязи. И еще в течение месяца девятый «В» по собственному почину на классных часах и уроках внеклассного чтения

заново проживал военные и мирные перипетии романа – уже вместе с Динэрой.

Вторая катастрофа случилась осенью, а для тех, кто осваивал «список обязательной литературы» за десятый класс летом – еще раньше.

Нежданно-негаданно происходит сбой. Предлагаемые для изучения тексты вдруг оказываются полыми изнутри. Присутствует только словесная оболочка, пустой хитиновый панцирь.

Герои перестают вызывать сочувствие и, главное, быть нужными. Чуть особняком стоит разве что рассказ «Макар Чудра», и то, скорее, потому, что отдаленно перекликается с пушкинскими «Цыганами». О «Старухе Изергиль» и того нельзя сказать. Какое отношение эта повесть имеет к программе по советской литературе, что у них общего, кроме натужного пафоса, ненатуральных персонажей и надуманного сюжета...

Десятый «В» разочарованно вздохнул и сосредоточился на подготовке к выпускному сочинению, то есть на повторении уже пройденного за предыдущие годы «материала».

Но Динэра всеми доступными средствами отстаивает литературу «советского периода». Самым любопытным она дает возможность догадаться о запретной зоне, тщательно маскируемой учебной программой, дает возможность почувствовать ее. Эта зона похожа на военный полигон, такой, который находится как раз недалеко от школы, в районе Ржевка-Пороховые. Никто никогда не был на этом закрытом объекте, но каждый день, с той или иной частотой, оттуда доносится тревожное уханье артиллерийских орудий.

...Наконец, снова начинается город, низкорослый и местами деревянный. Лес постепенно отступает, давая

место «хрущевкам» и недавно выстроенным вдоль проспекта Непокоренных длинным многоквартирным домам.

Не доезжая площади Мужества, посередине которой дымится зеленью маленькая рощица, «пазик» поворачивает вправо и через несколько минут останавливается возле ограды. Ворота открыты. Высыпав из «пазика», десятый «В» проходит на территорию, в глубине которой стоят несколько строительных вагончиков и деревянная вышка без окон и дверей, но с зияющим боковым проемом. После дождя глинистая земля хлюпает под ногами. Десятый «В» озирается: мусора, ради которого их сюда везли, не видно, кроме того, что уже навален в кузова двух грузовиков.

Из вагончика им навстречу выходит бригадир. Вид у него недовольный. Он кивает Динэре, дает подписать ей какие-то бумаги. Потом достает из мятой пачки папиросу, закуривает, оглядывает десятый «В», усмехается: «Работнички приехали». Тут вылезает вперед Байков и спрашивает: «А мусор-то где?» Бригадир смотрит на него как на придурка: «Да рядом, – и стучит по земле грязным кирзовым сапогом. – Отсюда семьдесят метров всего, – он бросает недокуренную папиросу и кивает в сторону вышки: – Пошли, на лифте прокачу». Десятый «В» на секунду задерживает дыхание, а потом с восторженным воплем устремляется к проему. «Погодите, – кричит бригадир, – учительницу свою забыли». Десятый «В» оборачивается и видит, что Динэра стоит на прежнем месте, как вкопанная. Наконец, она встряхивает головой и подходит к остальным. Выражение лица у нее странное. «Может, останетесь наверху, – спрашивает бригадир. – Если боитесь или плохо себя чувствуете». «Дети без меня не пойдут, я ничего не боюсь, – отвечает Динэра и ни к селу ни к городу добавляет непонятное: – Мне давно было нужно...»

Внутри вышки никакого лифта нет, а есть устройство вроде лебедки и деревянная клеть с низкими дверцами. Мигают лампочки на приборных щитках. Рычажки, кнопки, провода. «Ничего не трогать, слушать меня», – предупреждает бригадир, а молодой рабочий раздает десятому «В» рукавицы и каски.

## **КОНЕЦ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО ФРАГМЕНТА**